

# ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

1984



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44  
О-70

Серия «Эксклюзивная классика»

George Orwell  
1984

Перевод с английского *Д. Целовальниковой*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

**Оруэлл, Джордж.**

О-70 1984 : [роман] / Джордж Оруэлл ; [перевод с английского Д. Целовальниковой]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-148844-4


Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» — или доведенное до абсолюта «общество идеи»?

По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы...

Роман публикуется в новом переводе.

**УДК 821.111-31**  
**ББК 84(4Вел)-44**

ISBN 978-5-17-148844-4

 Школа перевода В. Баканова, 2022  
© Издание на русском языке AST  
Publishers, 2022

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.

В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас в светлое время суток электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромное лицо. Изображение было из тех портретов, взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни

двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».

Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и раскрасневшееся лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бритья тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.

Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо взидало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась надпись: «Большой Брат следит за тобой» — и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «АНГСОЦ». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов...

За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат

одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае, могли подключиться когда угодно. Приходилось жить... да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом... исходя из предположения, что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.

Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды — его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он, Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые деревянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисатов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.

Здание министерства правды (миниправ на новослове\*) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высоты отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояли еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.

Самое жуткое министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки,

---

\* Новослов — официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)

стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.

Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь — будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.

По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон, — вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высовываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло

быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.

Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине заухудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.

Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли из употребления — их даже для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не карябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причи-



нам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:

*4 апреля 1984 года*

Откинувшись на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.

Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общаться с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.

Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась.

Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.

Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:

*4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудовище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. Потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. На носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним малышом на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться, а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. И тут дивный кадр: детская рука летит вверх вверх вверх прямо в небо наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для про-*

*лов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети нипочем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что пролы говорят типичная реакция пролов они никогда...*

Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.

Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.

Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.

Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и гаечным ключом: скорее всего, занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил де-

вушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и яркой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.

За нею следовал член Центра Партии по имени О'Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О'Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на brutальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О'Брайена с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил — точнее, надеялся, — что политические взгляды О'Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на его лице про-

ступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае, О'Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался... да и как это сделать?

О'Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.

Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зубы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.

Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканы. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда, занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминутки ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его

никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.

У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная борода... — лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и бляющий голос был ему под стать. Как обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы, — и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном бляению Гольдштейна.

С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия или Восстания, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если вообще отваживались заговорить об этом, так и называли — Книга. Кроме неясных слухов мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.

На второй минуте ненависть вылилась в иступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их блеяние с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо

О'Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздрагивала, словно он пытался устоять в полосе прибора. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» — и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать... В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.

Самое ужасное в Двухминутке ненависти не то, что приходится играть навязанную роль, а наоборот, то, что не играть ее невозможно. Уже через полминуты надобность в притворстве отпадает сама собой. Присутствующих охватывают чудовищное упоение страхом и жадной мести, желание убивать, пытаться, лупить по головам кувалдой — словно через них пропустили электрический разряд, и они против своей воли обратились в оскаленных, визжащих психов. И эту ярость, чувство отвлеченное, ненаправленное, можно переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Внезапно ненависть Уинстона перекинулась с Гольдштейна на Большого Брата, на Партию и полицию помыслов: в такие моменты он чувствовал, что сердце его на стороне одинокого, осмеянного еретика на экране, единственного хранителя истины и здравого мышления в мире лжи. И все же в следующий миг он снова был заодно со всеми и верил всему, что говорили про Гольдштейна. В такие моменты тайная ненависть к Большому Брату обращалась в обожание, а фигура его, бесстрашного защитника, несокрушимого оплота, скалы на пути азиатских орд, возносилась ввысь. Гольдштейн же, несмотря на свою отвержен-



ность, беспомощность и сомнения в самом его существовании, представал гнусным чародеем, способным силой своего голоса погубить всю державу.

В иные моменты усилием воли удавалось переключить ненависть с одного объекта на другой. Резко, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон направил свою ненависть с лица на экране на сидевшую позади него темноволосую девушку. Перед мысленным взором замелькали яркие, дивные видения. Можно забить ее до смерти резиновой дубинкой, привязать голой к столбу и утыкать стрелами, как святого Себастьяна, совратить и перерезать горло на пике экстаза... Уинстон наконец понял, почему так ее ненавидит: потому что она юная, красивая и холодная, потому что он хочет с ней переспать, но из этого ничего не выйдет, потому что вокруг ее изящной, гибкой талии — словно созданной для объятий — алеет гнусный пояс, фанатичный символ целомудрия.

Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в бляение, лицо — в овечью морду, затем плавно перетекло в исполинскую фигуру евразийского солдата с ревушим автоматом, который двигался навстречу зрителям, грозя прорваться сквозь экран. Первые ряды в ужасе отшатнулись, и тут раздался всеобщий вздох облегчения: сквозь фигуру врага постепенно проступило лицо Большого Брата: черноволосое, с густыми усами, полное силы и таинственного спокойствия, такое огромное, что заняло почти весь экран. Голоса Большого Брата не было слышно. Скорее всего, он сказал что-то ободрительное, вроде тех слов, которые произносят в пылу битвы: по отдельности их не разобрать, но боевой дух они поднимают. Затем лицо Большого Брата снова поблекло, и на экране появились три лозунга Партии, набранные жирным шрифтом:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Лицо Большого Брата зависло на экране, словно отпечаталось на сетчатке так ярко, что не могло исчезнуть сразу. Маленькая блондинка перевесилась через спинку стула перед собой, простерла руки к экрану и страстно воскликнула: «О, мой спаситель!» Затем закрыла лицо ладонями и зашептала молитву.

И тут все присутствующие начали ритмично скандировать «Бэ-Бэ! Бэ-Бэ!» — снова и снова, очень медленно, с большой паузой между первой и второй «бэ» — тяжелый, вибрирующий звук, на фоне которого чудились топот босых ног и бой тамтамов. Продолжалось это с полминуты. Такой рефрен рождался сам собой в моменты наивысшего накала эмоций. Отчасти он был гимном мужеству и величию Большого Брата, но в значительной степени самогипнозом, нарочитым вхождением в транс с помощью ритмической кричалки. Уинстон похолодел от ужаса. В течение Двухминутки ненависти он и сам поддавался всеобщему безумию, но этот дикарский ритм всегда вгонял его в дрожь. Конечно же, он скандировал вместе со всеми. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что все, — реакция инстинктивная. И в этот миг случилось нечто важное... если только ему не померещилось.

Он поймал на себе взгляд О'Брайена. Тот уже поднялся, протер очки и широким жестом устраивал их на носу. На долю секунды, когда их глаза встретились, Уинстон понял: О'Брайен думает то же самое, что и он. Ошибиться невозможно: их разумы открылись друг другу, и мысли хлынули потоком. «Я с вами, — говорили глаза О'Брайена. — Я знаю, что вы чувствуете. Я вижу ваше

презрение, ненависть, отвращение. Но не бойтесь, я на вашей стороне!» Потом глаза О'Брайена погасли, и лицо стало таким же невозмутимым, как и у всех остальных.

Непонятно, показалось Уинстону или нет. Продолжения такие инциденты никогда не имели, зато помогали верить или хотя бы надеяться, что помимо него у Партии есть и другие враги. Возможно, слухи о подпольных заговорах — правда и Братство действительно существует! Впрочем, несмотря на бесчисленные аресты, признания и казни, не исключено, что Братство — просто миф. Иногда Уинстон в него верил, иногда нет. Доказательств не было никаких, лишь мимолетные проблески: обрывки чужих разговоров, каракули на стенах уборных, едва уловимый жест, похожий на условный сигнал, при встрече двух незнакомцев. Оставалось только гадать. Даже не взглянув на О'Брайена, Уинстон вернулся в свою кабинку. Закрепить их мимолетную связь он не рискнул, да и не представлял как. За секунду или две они обменялись двусмысленным взглядом, и все. Но для человека настолько одинокого и замкнутого, как он, даже это — целое событие.

Уинстон встрепенулся, сел прямо и рыгнул — джин подкатил к горлу.

Его взгляд упал на страницу. Пока он беспомощно размышлял, рука машинально продолжала писать. И почерк уже не был таким корявым и неуклюжим, как раньше. Перо самозабвенно скользило по гладкой бумаге, выводя аккуратными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

— и еще раз, и еще, и так на полстраницы.

Уинстон против воли ощутил приступ паники. Глупость, по сути: написать именно эти слова было ничуть не опаснее, чем взяться вести дневник, — но в тот миг его так и подмывало вырвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи.

Впрочем, этого он не сделал, потому как понимал: бесполезно. Без разницы, написал ли он: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» — или сумел сдержать себя. Без разницы, продолжит он вести дневник или нет. Полиция помыслов все равно до него доберется. Он уже совершил... и совершил бы, даже никогда не коснувшись пером бумаги... главное преступление, которое вбирало в себя все прочие. *Помыслокриминал*, так это называлось. Скрывать помыслокриминал вечно не выйдет. Какое-то время, даже несколько лет, может, и повезет, но рано или поздно им просто суждено тебя взять.

И всегда ночью: аресты неизменно производились ночью. Внезапный толчок вырывает из сна, чья-то грубая лапа трясет за плечо, свет, бьющий прямо в глаза, кольцо суровых лиц вокруг кровати. В большинстве случаев не бывало ни суда, ни сообщения об аресте. Люди просто исчезали — всегда за время ночи. Имя убиралось из документов, сведения обо всем, тобой содеянном в жизни, вымарывались, сам факт твоего былого существования отрицался, и вскоре тебя забывали. Тебя отменяли, аннулировали: ты *испарялся*, так обычно говорили.

На мгновение Уинстона охватило нечто вроде истерии. Он принялся торопливо писать корявыми каракулями:

*меня пристрелят мне плевать застрелят меня в затылок мне плевать долой большого брата они всегда стреляют в затылок мне плевать долой большого брата...*

Он откинулся на стуле, слегка устыдившись себя, и отложил перо. В следующий миг его будто током дернуло. Раздался стук в дверь.

Уже! Он сидел тихо, как мышка, отчаянно надеясь, что незваный гость уйдет, не дождавшись ответа. Увы, стук повторился. Хуже всего было тянуть время. Сердце стучало, как барабан, но лицо Уинстона не выражало ровным счетом ничего — сказывалась многолетняя привычка. Он встал и через силу двинулся к двери.

## II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон вспомнил, что оставил дневник открытым на странице, сплошь исписанной фразой: «Долой Большого Брата», — причем буквами довольно крупными, чтоб и издалека разобрать. Ничего глупее нельзя было сделать. Однако, даже паникуя, он не хотел марать красивую бумагу, захлопнув книгу с непросохшими чернилами.

Набрав в грудь воздуху, Уинстон открыл дверь. И тут же его окатила теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, затравленная женщина с редкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

— Вы все-таки дома, товарищ, — заныла она тоскливым, жалобным голосом. — Не заглянете к нам на минутку? Раковина на кухне засорилась...

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Вроде бы слово «миссис» осуждалось Партией — теперь всех следовало называть «товарищ», но к некоторым женщинам оно липло само собой. Ей было около тридцати, хотя на вид гораздо больше: такое чувство, что в морщинки на лице въелась пыль. Уинстон зашагал по коридору, проклиная про себя нескончаемые мелкие по-

ломки. «Дворец Победы» построили когда-то в тридцатых, и он буквально разваливался на части. С потолка и стен сыпалась штукатурка, в мороз лопались трубы, стоило выпасть снегу, как текла крыша, вдобавок из-за постоянной экономии топили редко и вполсилы. С чем могли, жильцы справлялись сами, остальными ремонтными работами распорядились какие-то сомнительные комитеты, которые по два года тянули с банальной заменой разбитого стекла.

— Понимаете, будь мой Том дома... — бормотала миссис Парсонс.

Соседская квартира была больше, чем у Уинстона, и выглядела так, словно в ней бушевал крупный дикий зверь. На полу валялся спортивный инвентарь: хоккейные клюшки, боксерские перчатки, рваный футбольный мяч, вывернутые наизнанку трусы. На столе громоздились грязная посуда и растрепанные школьные тетрадки. Стены украшали красные знамена Юношеской лиги и Разведчиков, огромный плакат изображал Большого Брата во весь рост. Стоял обычный для всего дома варено-капустный аромат, сквозь который едко шибал в нос запах (он распознавался сразу, хотя и не очень понятно как) пота человека, кого сейчас рядом нет. В другой комнате кто-то выдувал на расческе, обернутой в клочок туалетной бумаги, военный марш, пытаясь попасть в такт все еще льющейся с телеэкрана музыке.

— Дети... — молвила миссис Парсонс, с опаской покосившись на дверь.

У нее была привычка обрывать фразы, не договарив. В кухонной раковине почти у краев плескалась зеленоватая жижа, вонявшая похуже вареной капусты. Уинстон опустился на колени и изучил угловой стык сливной трубы. Он терпеть не мог работать руками, он

терпеть не мог нагибаться, потому что сразу начинал надсадно кашлять. Миссис Парсонс смотрела на него с мольбой.

— Конечно, будь Том дома, вмиг бы управился. Он обожает все чинить! Том у меня малый рукастый.

Парсонс работал, как и Уинстон, в министерстве правды. Шустрый толстяк, он ошарашивал всех своей глупостью, сгусток идиотского энтузиазма, он был из тех ретивых, безоговорочно преданных делу работяг, от которых стабильность Партии зависела чуть ли не больше, чем от полиции помыслов. Из Юношеской лиги его выпихнули в тридцать пять, а перед вступлением в Лигу он умудрился засидеться в Разведчиках на год дольше положенного возраста. В министерстве Парсонса держали на подчиненных должностях, где особого ума не требовалось, зато он стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и всех других комитетах, которые организовывали пешие походы, спонтанные демонстрации, кампании за экономию и прочие добровольные мероприятия. Попыхивая трубкой, он со сдержанной гордостью сообщал, что за последние четыре года не пропустил ни единого вечера в Доме культуры. Парсонса повсюду сопровождал одуряющий едкий запах пота, своего рода свидетельством напряженной общественной жизни, висел в воздухе, даже когда мужчина уходил.

— Гаечный ключ есть? — спросил Уинстон, взясь с гайкой на стыке.

— Гаечный? — растерянно повторила миссис Парсонс. — Не знаю... Может, дети...

Громко топая и трубя в расчески, в гостиную ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон слил воду и с отвращением извлек забившие трубу волосы. Кое-как сполоснув руки холодной водой, он вышел из кухни.

— Руки вверх! — раздался дикий крик.

Из-за стола выскочил симпатичный, крепкий мальчуган лет девяти и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, на пару лет младше, подражая брату, вскинула палку. Дети были в форме Разведчиков: синие шорты, серые рубашки и красные галстуки. Уинстон послушно поднял руки над головой, но ему стало нехорошо: в окрике ребенка звучала такая злоба, что игрой тут и не пахло.

— Ты предатель! — орал мальчишка. — Помыслокриминал! Евразийский шпион! Я тебя застрелю, сотру в порошок, пошлю на соляные копи!

И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.

— Вот ведь расшумелись, — пробормотала женщина. — Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.

— Почему мы не пошли на казнь?! — проревел мальчик во все горло.

— Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! — скандировала его сестрица, пританцовывая.

Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных



преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попросившись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в квартиру сына, сующего в карман рогатку.

— Гольдштейн! — рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.

В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телевизора и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавающей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины — сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату — для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об оче-

редных мелких пронырах (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.

Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О'Брайен.

Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в крошечной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О'Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О'Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О'Брайен.

Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О'Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», — пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.

Телеэкран умолк. В спертom воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил:

— Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку...

Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: следом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался, после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.

«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскатисто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.

На улице ветер судорожно трепал рваный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться *вечно*? Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте — голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек — отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели — от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.

Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Таковую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого — ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого — в испарение. Лишь полиция мыслей прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже новость кем написанного словца на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и надо выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.

Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:

*Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переиначить!*

Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось, что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:

*Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.*

Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина — вроде той тощей блондинки или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.

Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато, по крайней мере, можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли, Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.

### III

Уинстону снилась мама.

Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятих годов.

А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы — и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг — и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине, *потому что* он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.

Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продол-

жают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память о матери рвала ему сердце, потому как она гнила, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.

И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, стоит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

Через поле к нему шла темноволосая девушка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов — одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.

Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схватил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.

— Группа от тридцати до сорока! — пронзительно выкрикнул женский голос. — Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!

Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась молодая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастике и спортивных тапках.

— Руки согнули и потянулись! — командовала она. — Повторяйте за мной! РАЗ-два-три-четыре! РАЗ-



два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! РАЗ-два-три-четыре! РАЗ-два-три-четыре!..

Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Помнишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.

Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний — воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку, и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его се-

стренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение — на станцию метро, как он теперь догадывался.

Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскивали себе место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон по-детски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается... Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.

Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить историю тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни

в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.

Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь если Партия способна наложить свои лапы на прошлое и заявить, что того или иного события *не было вовсе*, такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?

Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, — гласит лозунг Партии, — контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось никогда. То, что правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Кон-

тролем над реальностью» называлось это: «*двоемыслие*» на новослове.

— Вольно! — гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать, сознать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия — столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.

Инструктор вновь поставила их по стойке смирно.

— А теперь посмотрим, кто из нас может дотянуться до кончиков пальцев на ногах! — с живостью воскликнула она. — Колени не сгибаем, товарищи! Раз-два! Раз-два!..

Уинстон терпеть не мог это упражнение, от него боль пронзала от пяток до ягодиц и зачастую вызывала приступ надсадного кашля. Хоть какое-то удовольствие от раздумий пропало. Прошрое, решил он, не просто изменено, оно на самом деле уничтожено. Ведь как установить даже самый очевидный факт, если вне твоей памяти нет никаких иных свидетельств? Он попытался вспомнить год, когда услышал о Большом Брате впер-

вые. Вроде бы это случилось в шестидесятые, хотя сказать точнее невозможно. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурирует в качестве лидера и стража Революции с самых первых ее дней. Его свершения постепенно отодвигались назад во времени до тех пор, пока не забрались в мифический мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в причудливых цилиндрах разъезжали по Лондону в сверкающих автомобилях или в конных экипажах со стеклянными окнами. Неизвестно, сколько в этих мифах правды и сколько вымысла. Уинстон не помнил даже, когда появилась сама Партия, он вряд ли слышал слово «ангсоц» до шестидесятого года, хотя вполне возможно, что его старая форма, то есть «английский социализм», уже была на слуху. Прошлое терялось в тумане. Иногда, безусловно, ложь удавалось распознать сразу. К примеру, учебники истории утверждали, что аэропланы изобрела Партия. Уинстон помнил, что они летали еще в его детстве, но доказать этого не смог бы — доказательств не осталось никаких. Лишь раз в жизни ему в руки попало письменное свидетельство фальсификации исторического факта. И тогда он...

— Смит! — раздался с экрана негодующий вопль. — 6079 Смит У.! Да, *вы!* Наклон глубже! Вы не стараетесь. Еще глубже! Во-о-от! Так-то лучше, товарищ. Теперь всем вольно и смотреть на меня.

Уинстона прошиб холодный пот. Лицо же его осталось совершенно невозмутимым. Не показывать смятения! Не показывать недовольства! Выдать может все, даже едва заметное движение глаз. Он стоял и смотрел, как инструктор подняла руки над головой и... не сказать, чтоб уж очень изящно, зато аккуратно и четко... согнулась пополам и сунула первые фаланги пальцев под носки тапок.

— Вот так, товарищи! Вот чего я от вас хочу. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. Смотрите снова! — Она наклонилась опять. — Видите, колени прямые. Вы тоже сможете, если захотите, — добавила она, выпрямившись. — Любой, кто моложе сорока пяти, вполне способен коснуться кончиков пальцев на ногах. Не всем нам выпадает честь сражаться на передовой, но мы можем хотя бы держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков в Плавающих крепостях! Представьте, каково им приходится. Теперь попробуйте еще раз. Так-то лучше, товарищ, гораздо лучше, — одобрительно добавила она, когда Уинстон, стиснув зубы, коснулся концов пальцев, совершенно не подгибая колен, — впервые за несколько лет.

#### IV

Начиная рабочий день, Уинстон, невзирая на близость телеэкрана, тяжело вздохнул, придвинул к себе речеписец, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул четыре маленькие бумажные трубочки, выпавшие из пневматической трубы с правой стороны стола, и скрепил бумажки вместе.

В стенах рабочей кабинки были три отверстия. Справа от речеписца — небольшая пневматическая труба для служебных уведомлений, слева — труба побольше, для газет, на боковой стене на расстоянии вытянутой руки — широкая щель с проволочной решеткой, предназначенная для утилизации бумажных отходов. Таких щелей по всему зданию министерства были тысячи или даже десятки тысяч, причем не только в кабинетах и кабинках, но и в коридорах. Почему-то их

прозвали дырами памяти. Если требовалось уничтожить любой документ или просто клочок бумаги, валившийся на полу, работник машинально открывал ближайшую заслонку и совал мусор внутрь; поток теплого воздуха его подхватывал и уносил к громадным топкам, скрытым глубоко внизу.

Уинстон изучил четыре развернутые бумажки. На каждой было поручение в одну-две строчки, написанное на специальном жаргоне, который применялся в министерстве сугубо для внутреннего пользования: еще не новослов, но очень похоже. В них значилось:

*таймс 17.3.84 речь бб изврат африка скоррект*

*таймс 19.12.83 прогнозы 3 гп 4-й квартал 83 опечат  
сверка с текущим выпуском*

*таймс 14.2.84 миниблаг извратцит шоколад скоррект*

*таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюсне-  
добр отсыл безличности полная перепись доархив утвер-  
вышинст*

Не без легкого удовольствия Уинстон отложил четвертую бумажку в сторону. Тут требовалась тонкая и ответственная работа, и он оставил ее напоследок. Другие три поручения были рутинными, хотя со вторым придется повозиться из-за обилия цифр.

Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и заказал соответствующие выпуски «Таймс», которые вскоре выскользнули из пневматической трубы. Рабочие поручения относились к статьям и информации, которые требовалось изменить или, выражаясь официально языком, скорректировать. К примеру, «Таймс» от семнадцатого марта сообщила, что шестнадцатого марта Большой Брат в своей речи предсказал, что обстановка на Южноиндийском фронте оста-

нется без перемен, а в Северной Африке вскоре начнется наступление евразийской армии. Получилось так, что Высшее командование Евразии развернуло наступление в Южной Индии, а Северную Африку оставило в покое. В связи с чем возникла необходимость переписать абзац речи Большого Брата таким образом, чтобы он предвидел реальные события. Или та же «Таймс» девятнадцатого декабря опубликовала официальные прогнозы выпуска различных промтоваров на четвертый квартал 1983 года, он же шестой квартал Девятой трехлетки. В сегодняшнем номере газеты указан фактический выпуск, из которого следует, что прогнозы ошибочны по всем пунктам. Работа Уинстона заключалась в том, чтобы скорректировать первоначальные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Третье поручение касалось очень простой ошибки, которую можно устранить за пару минут. Не далее как в феврале министерство благоденствия обещало (точнее, «решительно заявило»), что в 1984 году норму шоколада на душу населения не уменьшат. На самом деле, как знал Уинстон, в конце прошлой недели пайка сократилась с тридцати до двадцати граммов. Требовалось лишь заменить прежнее обещание предупреждением, что в апреле норму, вероятно, придется сократить.

Выполнив первые три поручения, Уинстон прикрепил к соответствующим выпускам «Таймс» надиктованные на речеписец поправки и сунул их в пневматическую трубу. Затем почти машинально смял бумажки с заданиями и сделанными для себя записями и бросил все в дыру памяти.

Подробностей о происходящем в невидимом лабиринте пневматических труб Уинстон не знал, имел об этом лишь общее представление. Едва необходимые



коррективы к конкретному номеру «Таймс» готовы, газету перепечатывают, старый экземпляр уничтожают и заменяют исправленной версией. Непрерывному изменению подвергаются не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, буклеты, фильмы, звуковые дорожки, мультфильмы, фотографии — любые публикации и документы, способные иметь политическое или идеологическое значение. Прошлое обновляется день за днем, минута за минутой. При таком подходе сбывается любой прогноз Партии, чему есть документальное подтверждение, а любая новость или мнение, противоречащее нуждам текущего момента, исчезает без следа. История как палимпсест, древний пергамент, надписи на котором соскабливают и переписывают столько, сколько нужно. Едва дело сделано, ты уже ничего не докажешь. Самый большой отдел департамента документации (гораздо крупнее того, где трудился Уинстон) состоял из служащих, в чьи обязанности входило отслеживать и собирать все копии книг, газет и прочих источников, подлежащих замене и уничтожению. Номер «Таймс», дюжину раз перепечатанный из-за перемен политического курса или ошибочных прогнозов Большого Брата, все еще значился в подшивке под прежней датой, и других экземпляров не существовало. Книги также изымали и переиздавали без каких-либо упоминаний о том, что в них внесены соответствующие изменения. Даже письменные указания, которые Уинстон получал и от которых избавлялся сразу после завершения работы, никогда не называли вещи своими именами: не подделка, а корректировка оговорок, опечаток, неверных цитат с целью устранения неточности.

Вообще-то, думал Уинстон, корректируя данные министерства благоденствия, это даже не подделка,

а всего лишь замена одной галиматьи на другую. Большая часть материала, с каким приходилось иметь дело, никак не связана с реальным миром. Статистика — всего лишь фантазия, как в оригинальной, так и в исправленной версии. Частенько цифры приходилось придумывать самому. К примеру, прогноз министерства благоденствия предрекал на текущий квартал выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви. Фактический объем производства составил шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переделывая прогноз, позволил себе сократить его до пятидесяти семи миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполнен. В любом случае, шестьдесят два миллиона ничуть не ближе к реальным цифрам, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Вероятнее всего, обувь не изготовили вовсе. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и никому до этого нет дела. Зато каждый квартал якобы производят рекордное количество ботинок, даром что половина Океании ходит босиком. И так везде, с любым документально подтвержденным фактом. Все пропадало в этом мире теней, в котором в конце концов нельзя было быть уверенным даже в том, какой именно год считается текущим.

Уинстон бросил взгляд через проход между кабинками. По ту сторону усердно трудился, положив газету на колено и прильнув губами к речеписцу, его коллега Тиллотсон, тощий педант с темным подбородком. У него был такой вид, словно все, что он надиктовывает, должно остаться между ним и телеэкраном. Тиллотсон покосился на Уинстона и недобро сверкнул очками.

Уинстон едва его знал и понятия не имел, чем тот занимается. Сотрудники департамента документа-

ции неохотно делились сведениями о своей работе. В длинном зале без окон, с двумя рядами клетушек постоянно шуршала бумага и голоса бубнили в речеписцы, здесь сидела не одна дюжина людей, даже имен которых Уинстон не знал, хотя каждый день сталкивался с ними в коридорах или на Двухминутках ненависти. Маленькая песочная блондинка в соседней кабинке день-деньской занималась лишь тем, что выискивала и удаляла из газет имена тех, кто испарился, а следовательно, как бы и не должен был никогда существовать. Занятие для нее вполне подходящее, если учесть, что пару лет назад испарился ее муж. Еще через несколько кабинок сидел безобидный мечтатель по фамилии Эмплфорт, его отличали лезшие из ушей лохмы волос и поразительный талант звонко играть словами, увязывая их рифмами и любым стихотворным размером. Его удел — искажение (считалось: создание канонических текстов) стихов, которые были сочтены идеологически вредными, но по тем или иным причинам подлежали сохранению в поэтических антологиях. И этот зал с его пятьюдесятью (или около того) работниками был всего лишь подразделением, одною клеточкой в сложной структуре громадины департамента документации, что тянулся и вширь, и вглубь здания и выполнял невообразимое множество различных задач. Имелись в нем и огромные типографии со своими редакторами, оформителями, верстальщиками, и прекрасно оборудованные студии, где трудились мастера подделки фотографий. Имелся и отдел телепрограмм с инженерами-механиками, режиссерами-постановщиками и актерами, умеющими искусно имитировать чужие голоса. Целые армии клерков занимались исключительно составлением списков книг и журналов, подлежащих изъя-

тию. В обширных хранилищах содержали исправленные документы, а в скрытых топках уничтожали оригиналы. И во главе всего этого тайно, неизвестно где заседал управляющий мозг департамента, который согласовывал все действия и гнул генеральную линию, определявшую, какой фрагмент прошлого требуется сохранить, какой фальсифицировать, а какой уничтожить без следа.

Департамент документации был лишь одним из структурных подразделений министерства правды, чья главная задача состояла вовсе не в переписывании прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, учебниками, фильмами, телепрограммами, пьесами, романами — всевозможными видами информации: от служебных инструкций до легкого чтения, от статей до лозунгов, от лирических стихов до научных трудов, от детских прописей до словариков новослова. Министерству приходилось не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и создавать аналогичную продукцию на более низком уровне, заботясь о благе пролетариев. Литературой, музыкой, драмой и зрелищами для пролов занималась целая сеть отдельных департаментов. Там производили дрянные газеты, где не печаталось ничего, кроме новостей спорта, криминальной хроники и астрологических прогнозов, пятицентовые бульварные романы, фильмы с постельными сценами и сентиментальные песенки, которые механически создавались на специальном калейдоскопе, известном как версификатор. Существовал даже особый сектор (на новослове он звался *порносек*), выпускавший самую низкопробную порнографию, которая рассылалась в запечатанных пакетах, и ни единому члену Партии, помимо создавших эту продукцию, смотреть ее не позволялось.

Из пневматической трубы выпали еще три поручения, довольно простые, и Уинстон успел управиться с ними до Двухминутки. После Ненависти он вернулся к себе в кабинку, взял с полки «Словник новослова», отвел в сторону речеписец, протер очки и взялся за основную сегодняшнюю работу.

Величайшим удовольствием в жизни Уинстона была работа. По большей части приходилось иметь дело с нудной текучкой, зато иногда попадались задания столь сложные и замысловатые, что он уходил в них с головой, как в математическую задачку: виртуозная манипуляция фактами, основанная исключительно на знании принципов ангсоца и предчувствии того, что именно угодно Партии. Такое Уинстону удавались хорошо. Иногда ему даже доверяли корректировать передовицы «Таймс», написанные целиком на новослове. Он развернул ранее отложенное поручение и прочел:

*таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюсне-  
добр отсыл безличности полная перепись доархив утвер-  
вышинст*

В переводе на старослов (или обычный английский) это означало:

*В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года дневная хроника Большого Брата изложена чрезвычайно неудовлетворительно, в ней упомянуты несуществующие лица. Переписать целиком и до архивации подать черновик на утверждение вышестоящей инстанции.*

Уинстон прочел забракованную заметку. В хронике воздавалась похвала организации, известной как ССПК, снабжавшей моряков плавучих крепостей па-

пиросами и прочими предметами хозяйственно-бытового обихода. Большой Брат особо отметил некоего товарища Уизерса, видного деятеля Центра Партии, и наградил орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Три месяца спустя ССПК неожиданно распустили без объяснения причин. Предположительно Уизерс с подручными впали в немилость, но ни газеты, ни телеэкран о том не сообщали. Ничего удивительного, ведь политические преступники редко представляли перед судом. Массовые многотысячные чистки с публичными процессами над изменниками и помыслокриминалами, с громкими униженными признаниями и казнями, были особыми зрелищами и проводились раз в несколько лет. Чаще всего те, кто навлек на себя немилость Партии, просто исчезали, и никто о них не слышал. Не появлялось ни малейшего представления, куда они девались. В иных случаях их даже оставляли в живых. Уинстон лично знал человек тридцать, не считая своих родителей, которые исчезли в разное время.

Уинстон задумчиво почесал нос скрепкой. В кабинке через проход от него товарищ Тиллотсон украдкой наговаривал что-то в речеписец. Он поднял голову — очки снова злобно сверкнули. Уинстон заподозрил, что коллега вполне мог корпеть над тем же поручением, что и он. Такую тонкую работу никогда не доверяли одному служащему, впрочем, созвать ради нее особую группу значило бы признать факт подделки. Вероятнее всего, над альтернативными версиями директивы Большого Брата трудилась по меньшей мере дюжина сотрудников. В скором времени какая-нибудь партийная шишка выберет тот или иной вариант, отредактирует, запустит сложный, многоэтапный процесс оформления перекрестных ссылок, и тогда ложь

приобретет статус официального документа и станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс впал в немилость. Может, из-за коррупции или некомпетентности. Может, Большой Брат просто избавился от ставшего слишком популярным подчиненного. Может, Уизерса или кого-нибудь из его окружения заподозрили в отклонении от генеральной линии Партии. Или же, что наиболее вероятно, это случилось просто потому, что чистки и испарения неугодных — необходимые детали государственной машины. Единственная подсказка крылась в выражении «отсыл безличности» — то есть Уизерс уже мертв. Просто арест такой уверенности не гарантировал: иногда арестованных отпускали, давали пожить на свободе годик-другой и потом казнили. Изредка тот, кого считали давно умершим, внезапно всплывал на каком-нибудь публичном процессе и своими признательными показаниями тянул за собой сотни других, прежде чем исчезнуть навсегда. Уизерс, напротив, уже считается безличностью. Его нет — его никогда не существовало. Уинстон решил, что изменить смысл речи Большого Брата на противоположный недостаточно. Лучше пусть она утратит всякую связь с первоначальной темой.

Он, конечно, мог бы превратить хвалебную речь в обличение изменников и помыслокриминалов, только это чересчур очевидно. Если придумать победу на фронте или объявить о перевыполнении плана производства в Девятой трехлетке, то потребуется слишком много переделок других источников. Нужна какая-нибудь чистой воды фантазия. И тут перед мысленным взором вспыхнула готовая картинка: некий товарищ Огилви, недавно павший смертью храбрых в бою. Случалось, в хрониках Большой Брат отдавал дань памяти

какому-нибудь скромному, рядовому члену Партии, чья жизнь и смерть могли послужить хорошим примером для подражания. Сегодня ему следует почтить память товарища Огилви. Разумеется, такого человека не было и в помине, но это исправимо: нужны лишь небольшой текст и пара поддельных фотографий.

Уинстон подумал с минуту, придвинул к себе речеписец и начал диктовать в знакомой манере Большого Брата, в стиле одновременно армейском и книжном. Благодаря риторическим вопросам и немедленным ответам на них — «Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Урок, который, кстати, является одним из основополагающих принципов англсоца, следующий...» — подражать ему сравнительно несложно.

В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, пистолета-пулемета и детского вертолетика. В шесть — на год раньше, чем положено, благодаря особому разрешению — вступил в Разведчики, в девять стал командиром отряда. В одиннадцать сдал своего дядю полиции помыслов, подслушав разговор, показавшийся ему преступным. В семнадцать Огилви возглавил Юношескую антисекс-лигу района. В девятнадцать сконструировал ручную гранату, принятую впоследствии на вооружение министерством мира, которая при первом испытании убила тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три погиб в бою. На вертолете перелетал через Индийский океан, когда на него напали вражеские реактивные самолеты. Тогда он выпрыгнул из вертолета в обнимку с пулеметом, чтобы сразу пойти на дно вместе с важными донесениями. Достойный конец, которому можно только позавидовать, отметил Большой Брат. Упомянул и о чистоте и целе-